

#1

АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ

«Ненапыщенные записки о недавнем и относительно давнем прошлом — именно так современность может поглядеться в зеркало прошедшего».

Анна Наринская

«Чудесная книжка. Художники и современное искусство вообще выходят у Боровского много интереснее, чем они есть на самом деле».

Михаил Пиотровский

РАЗГОВОРЫ ОБ (НЕ ОТНЯТЬ) ИСКУССТВЕ



«Читаю А. Боровского давно — как художественного критика, одного из совсем немногих, которого читать интересно.

«Про жизнь» он пишет так же увлекательно и иронично, как и «про искусство». Стас Намин

Table-Talk

Александр Боровский

**Разговоры об
искусстве. (Не отнять)**

«Издательство АСТ»

2018

УДК 73/76
ББК 85.1

Боровский А. Д.

Разговоры об искусстве. (Не отнять) / А. Д. Боровский —
«Издательство АСТ», 2018 — (Table-Talk)

ISBN 978-5-17-101617-3

Александр Боровский – известный искусствовед, заведующий Отделом новейших течений Русского музея. А также – автор детских сказок. В книге «Не отнять» он выступает как мемуарист, бытописатель, насмешник. Книга написана в старинном, но всегда актуальном жанре «table-talk». Она включает житейские наблюдения и «суждения опыта», картинки нравов и «дней минувших анекдоты», семейные воспоминания и, как писал критик, «по-довлатовски смешные и трогательные» новеллы из жизни автора и его друзей. Естественно, большая часть книги посвящена портретам художников и оценкам явлений искусства. Разумеется, в снижающей, частной, непретенциозной интонации «разговоров запросто». Что-то списано с натуры, что-то расцвечено авторским воображением – не даром М. Пиотровский говорит о том, что «художники и искусство выходят у Боровского много интереснее, чем есть на самом деле». Одну из своих предыдущих книг, посвященную истории искусства прошлого века, автор назвал «незанудливым курсом». «Не отнять» – неожиданное, острое незанудливое свидетельство повседневной и интеллектуальной жизни целого поколения.

УДК 73/76
ББК 85.1

ISBN 978-5-17-101617-3

© Боровский А. Д., 2018

© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Чета Арнольфини	7
Доктор	9
Душечка	10
Древнеримское	11
Монетарное	12
Разговор	14
Драчун	15
Арбузы от Тубли	17
Яички в 1960-м году	19
Сильный старик	22
Цанка	24
Бабушка	26
Дамба	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Александр Боровский

Разговоры об искусстве

© Александр Боровский, текст

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Английское словосочетание Table-talk связано для нас в первую очередь с Пушкиным. Папка с такой надписью была обнаружена среди его бумаг и собранные там заметки традиционно публикуются под этим названием. Эти тексты легче всего определяются словом «анекдот», только не в его теперешнем, а в тогдашнем понимании, объединявшем историческое свидетельство, остроумно высказанную мысль и, наконец, как и сегодня – смешной рассказ с неожиданным концом.

Считается, что и название, и идея сборника таких текстов подсказана Пушкину книгой знаменитого английского романтика Сэмюэла Колдриджа, которую – это точно известно – он купил 17 июля 1935 года (примерно тогда же он начал собирать в папку листы с собственными записями). Впрочем и Колдридж тут не первооткрыватель – table talk это в принципе жанровое определение эссеистически-вспоминательно-остроумных заметок, причем каждый автор «разворачивал» этот жанр в интересную для него сторону (в библиотеке Пушкина, например, имелась книга эссеиста Уэльяма Хэзелитта с таким же названием – она вышла раньше колриджевской и состояла из серьезных статей на этические темы).

Пушкинский Table-talk, который, действительно в какой-то мере, напоминает подготовительные материалы к застольной беседе, в полной мере отражает его интерес к прошлому, показанному, как он сам формулировал, «домашним образом». То есть через рассказ о небольших происшествиях, через воспоминания об остроумных, но не великих разговорах, через описания людей прошлого «в мелочах» с их слабостями и корявостями. Только так – опять же по словам Пушкина – история может быть показано современно.

Поэтому в пушкинском tabl-talk'e и примыкающим к нему «Разговорам с Н. К. Загряжской» заметки о влиянии Гете на Байрона или о происхождении арабских цифр соседствует с пересказом шуток Гнедича и Дельвига, записями воспоминаний о нравах двора Екатерины и Петра и воспоминаниями лицейской юности. Эти несколько десятков записанных «реплик» предъявляют и связь времен и их разрыв. Возможность (почти всегда) посмеяться произнесенной сто лет назад шутке куда отчетливей любых историко-социологических выкладок демонстрирует то, что люди вообще-то не меняются. Невозможность (тоже почти всегда) соответствовать делам и поступкам прошлого показывает, что все-таки – меняются очень.

Начиная (вернее, возобновляя) серию Table Talk, мы предлагаем как раз такой подход. Ненапыщенные записки о недавнем и относительно давнем прошлом – именно так современность может поглядеться в зеркало прошедшего.

Анна Наринская

Чета Арнольфини

Мне лет десять. Гурзуф, Дом творчества художников. Там был директор, крупный, ядреный, не старый еще человек, седовласый. Отличался, по контрасту с благородной внешностью, чрезвычайной угодливостью к художникам «в силах»: академикам, секретарям творческих союзов и пр. Встречал, провожал, подсаживался в столовой. Моим родителям он чрезвычайно не нравился: во-первых, пытался не пускать меня в номер – якобы детям нельзя. На самом деле детям начальников было можно. Меня же и других не номенклатурных детей втаскивали в окна первого этажа на простынях, поначалу и до того доходило. Потом утряслось. Но главное, директор раздражал именно этой искательностью, уже несколько старомодной по тем временам. Он перебарщивал, это и старшие товарищи понимали. Однако принимали с улыбочкой: чего же вы хотите – старая школа, отставной энкаведист. И тут происходит следующее. Приехала отдыхать художница из Киева, старая еврейка (это я потом из разговоров родителей узнал, но не очень тогда представлял, что это слово значит), больная, с трудом поднимавшаяся по ступенькам. Не номенклатурная – директор ее не встречал. Случайно столкнулись в вестибюле. И мы там оказались, шли с пляжа, что ли. И вот эта пожилая женщина, увидев директора, впала в истерику.

– Это он, он пытал меня в тюрьме в Могилеве, перед войной. Подлец, инвалидом сделал. Это он, старший лейтенант такой-то.

Что-то на о... Криворученко? Не помню... Кстати, у директора была другая фамилия, что не удивительно, как я теперь понимаю. Кадры берегли. Тех, кого не расстреляли под горячую руку на антибериевском пике, снабдили новыми фамилиями и пристроили втихую на хлебные места.

– Помнишь меня, мерзавец?

Директор, надо сказать, отнесся ко всему хладнокровно. Видно, не впервой ему попадались бывшие: все-таки дом творчества художников, контингент сложный, засоренный. Он бочком-бочком ретируется. И попадает в руки к оказавшемуся рядом отцу с его физической крепостью и всегдашней готовностью дать плохому человеку по морде. В данном случае подогреваемой очевидностью ситуации: сталинский палач, холеный и сытый, жертва-инвалид. Время хрущевское, антикультовый заряд еще не иссяк. К тому же гад: пытался ребенка не пустить в комнату, а перед всякой сволочью выслуживается... Кара была неотвратима. Даже энкаведист смирился и кричал что-то совсем уж неприличное:

– Не я это был, обознались. – И отцу: – Ответите!

Даже мама не делала запретительных жестов. Собиралась небольшая толпа художников. Сочувствующих директору не находилось. Даже помощники отцу выискали. И уже белая холщовая рубашка директора (под пояс, тогда уже казавшаяся старомодной, безобидно бухгалтерской, из фильмов тридцатых годов) затрещала. И первый раз по загревку дали – хлопок такой резкий прозвучал. И тут появляется фигура Андрея Андреевича Мыльникова. В пляжной пижаме. Он уже, кажется, был академиком и лауреатом, профессором уж точно. Он удивительным образом сочетал в себе высокого эстета, эдакого прерафаэлиты, и ленинградского убежденного карьериста. Конечно, и у него бывали срывы. На каком-то высоком съезде он выступал с речью от лица творческой общественности. Доверительно обращаясь к старцам президиума, сидевшим на возвышении под портретом Ленина его работы (эта чеканка на металлическом занавесе Дворца съездов присутствовала в телекартинке почти постоянно: в Кремле заседали и отмечали в режиме non-stop), он совершенно неожиданно вспомнил пушкинское: «Нет правды на земле. Но правды нет – и выше». Слава Богу, это уведомление не было воспринято дремлющими старцами адекватно, Андрею Андреевичу повезло. Но в целом он строго соблюдал баланс. Такой вот этактический эстетизм. Словом, человеческий и творческий

тип был незаурядный. Так вот, Андрей Андреевич подошел неслышно. Он мгновенно оценил ситуацию. Не то чтобы он сочувствовал энкаведисту, вовсе нет. В ленинградской интеллигенции, даже успешной и чиновной, жила затаенная ненависть к этому сословию. Были причины. Опытный Мыльников с ходу просчитал последствия. Скандал с возможными политическими нюансами никому не был нужен. Тем более скандал в его присутствии. Барски снисходительно он взял отца под руку. И показал на старинные напольные часы (Бог знает, откуда попавшие в Дом творчества). Там, на бронзовом круглом маятнике, как в мутном выпуклом старинном зеркале, отражалась, с небольшим искажением, вся эта группа.

– Посмотрите, Дима, вылитый Ян ван Эйк. Чета Арнольфини.

С этими словами он достойно удалился. После такой высокой эстетической планки бить гада было уже несподручно. Дали пинка, и он исчез. Недели на две. Новую смену он уже встречал как ни в чем не бывало: заискивал перед начальниками, отчитывал рядовых членов творческого союза. Пятьдесят лет прошло. Отца и матери уже нет. Мыльникова тоже. И когда бываю в Лондоне, в Национальной галерее, и когда просто попадется под руку репродукция, внимательно рассматриваю «Портрет четы Арнольфини»: молодой негоциант с женой, и на заднем плане – круглое зеркальце. Там эта пара, соответственно, изображена зеркально, зато виден художник в тюрбане и еще какой-то человек. И все. И никакого ответа.

Доктор

Подростком, как все ленинградские дети, часто болел ангиной. До сих пор вызывает неприятное чувство слово «Максимилиановка», так называлась единственная платная поликлиника, куда меня возили на такси, закутанного с ног до головы. Максимилиановские уколы в миндалины не помогали. Родители стали искать других врачей. Помню одного старичка, какого-то совсем старорежимного – тяжелое пальто, галоши, медицинский саквояж. Он был такой старый, что родители, похоже, усомнились: годен ли? Папа с некоторым сомнением снимал с него пальто: не проще ли сразу как бы незаметно – этой процедуры в то время стеснялись – положить в карман бумажку и проводить восвояси. Разоблачившись, старик развил бурную деятельность: потребовал воды, полотенец, серебряную ложку. Осмотрев дитяти горло, отмахнулся от вопроса об уколах, чем сразу мне понравился. Он прописал что-то совсем несусветное – ножные ванны с алюминиевой стружкой и чем-то там еще (к слову сказать, помогло). Так и обошлось без уколов и операций). Затем ему накрыли чай, и они с бабушкой, которая неожиданно прониклась к нему симпатией, стали очень мило беседовать про старые времена. Я запомнил такую историю.

– Мой незабвенный папочка был уважаемым еврейским аптекарем, – начал старик. Бабушка посмотрела на него с сочувствием, ожидая понятного каждому советскому человеку драматического развития событий. Но рассказ оказался оптимистичным. – Настолько уважаемым, что был избран осенью 1914 года в делегацию, которая должна была засвидетельствовать правительству поддержку в начавшейся войне. Все народности империи прислали такие делегации, и евреи, конечно, тоже. Царь принял эту делегацию и даже поблагодарил евреев за верность. – Бабушка одобрительно покачала головой. – Так вы представляете, в Виннице, в середине тридцатых мой незабвенный папочка, уже очень старый, останавливал трамвай. Просто помахав тростью – его все знали. И вот он, не торопясь, входил в вагон, всегда с передней площадки. Останавливался, перекладывал палку в левую руку, а правую поднимал и показывал ладонь пассажирам: «Евреи, эту руку пожимал Николай Второй!».

Душечка

Тип чеховской душечки у меня ассоциируется с одной искусствоведшей, Аленой Н. Очень милой женщиной, знающей, работавшей в московском музее. Я позвонил ей – дело было лет тридцать назад – после какого-то вернисажа, выпивший. Люди мы не местные, питерские. Как-то не озаботился, где в Москве переночевать, ну и напросился. Времена были легкие. К тому же знал, что она замужем. Так что никаких подводных камней быть не могло. Она легко согласилась, правда, предупредила: муж у нее уже другой, не тот, которого я знал, и просила ничему не удивляться. И вот я в квартире, раскланиваюсь с мужем, молодым человеком довольно странного вида: он был бородат; несмотря на позднее время и домашнюю ситуацию, одет в ветровку и вообще напоминал бесконечно далекий от нашего круга типаж итэ-эровцев-туристов, из этих, «с гитарой за туманами». Вообще казалось, он только от костра, от мошкар, пропахший дымом... О дезодорантах большинство населения СССР вообще тогда не слыхивало... Как обещано, я не выказывал удивления. Но в комнате (а это была большая комната в коммуналке) раскрыл рот: посередине стоял большой надувной плот с какой-то – не знаю, как это называется, – каюткой-шалашиком посередине.

– Ты не удивляйся, – сказала Алена. – Мы теперь плотогон. То есть мой муж плотогон, капитан плота, а я так, но экзамен на судовождение (или, скорее, плотовождение) уже сдала... По-настоящему будет, конечно, большой плот, а не надувной матрас, это мы так, привыкаем. Весной сплавляемся.

Мне постелили в коридоре на диванчике. Сами хозяева полезли в каюту-шалаш. Привыкали. Спал я плохо: снился то ли Енисей, то ли Ангара, бревна под ногами ходили. Под утро, никого не разбудив, крадучись, ушел. С огромным облегчением. Пару лет звонить побаивался. Встретились в Третьяковке на очередном вернисаже. Алена доложила, что все нормально, карьера в порядке, но муж уже другой. Говорила с таким нескрываемым трепетом, что я побоялся спросить – кто, чем занимается? К чему привыкают? Душечка!

Древнеримское

Как-то утром мы с моим дорогим другом, великим фарфористом Андреем Ларионовым ощутили общую потребность поправиться. Вышли из моей мастерской, располагавшейся в последнем доме по переулку Матвеева, и быстрым шагом дошли примерно до того места, где сейчас расположена чудовищной архитектуры Вторая сцена Мариинки. Мы твердо знали, что к одиннадцати часам туда подвозят пиво. Очередь уже была. Она состояла из стариков с удивительными лицами: плешивые, выразительно очерченные головы, высокие лбы, орлиные взоры, брезгливые складки губ, брыли, лежащие на воротниках. Старики, не обращавшие на нас никакого внимания, были погружены в себя. Друг с другом они тоже не говорили, разве что обменивались взглядами. Было ясно: давние знакомцы, все между ними уже сказано-пересказано... Эти мятые лица обладали какой-то древнеримской значительностью: губернаторы провинций, полководцы. Сенаторы. Бери выше – диктаторы.

– Сулла, – прошептал Андрей.

Мы удивительно чувствовали настрой друг друга. Мне же явные черты упадка напомнили о «солдатских императорах». Я отозвался:

– Максимин Фракиец, Бальбин.

Нет ничего более оживляющего историческую «эрмитажную» память, чем эти минуты перед розливом пива. Продавщица в халате уже работала краном. Первая струя плеснула в первую толстого стекла кружку. Я на какое-то время выпал из реальности.

– Что же вы, молодой человек? – Поставленный раскатистый голос вернул меня в нужное место. – Помогите же!

Я не сразу понял, что от меня требуется. Оказалось, у стоявшего впереди меня патриция руки ходили ходуном, настолько, что он не мог удержать кружку. Надо было ему помочь, поднести кружку ко рту. Я, естественно, помог своему, то есть ближайшему ко мне, старцу. Андрей – своему. Отхлебнув, старики почувствовали себя лучше, дрожь в руках улеглась.

– Благодарствую, – произнес «мой», забирая кружку.

Мы долго оставались под этим древнеримским впечатлением. Военными императорами периода упадка были отставные актеры Мариинки. Оперные или балетные, мы так и не узнали.

– Точно оперные, – сказал мне, прочитав этот текст, приятель-театрал, Сергей Аркадьевич Полотовский. – Балетные уходят на пенсию сравнительно молодыми.

Так-то оно так, но вдруг тоже подтягиваются на старости лет поближе. К своей бочке с пивом.

Монетарное

Двор, в котором я рос, был закрытым со всех сторон, укромным. Чужие здесь не ходили. А если как-то проскальзывали, то это нами, мелюзгой, воспринималось как событие. Однажды просочился такой вот чужой мальчик. Он был не то чтобы намного старше меня, семи-восьмилетнего. Но гораздо более бывалым, авторитетным, ученым жизнью. Он был в кепке и как-то цыкал сквозь зуб. Как в фильмах, которые я видел много позже, цыкают блатные. Мы играли в ножички, он даже не победил нас всех, а покориł походя, как усталый хан Бату каких-то незадачливых юных древнерусских князей. Он выказывал усталость и пресыщенность. Ему было скучно. Мы были готовы отдать ему наши благополучные, неокрепшие, мечтательные души. Где-то вдалеке замаячил дворник, и паренек исчез. Снова он просочился во двор дня через два. Случайно или нет (скорее, второе – я представлял собой слишком очевидный тип мечтателя и раззявы, предельно далекого от материальной стороны мира), он отвел в сторонку именно меня.

– Скажи, братан, – я расцвел от самого звучания этого слова, – у тебя на хате есть чего-нибудь интересного?

Я мучительно рылся в памяти: что интересного можно найти у нас дома. Решительно ничего интересного. Разве что дедушкин трофейный немецкий кортик? К счастью, вспомнил о старинном альбоме с марками в кожаном переплете. У нас никто марки не собирал, значит, – доставшемся от многочисленных погибших родственников.

– Годится, – сказал бывалый. – Слетай, покажь. – Я мигом обернулся. Бывалый презрительно просмотрел альбом. – Дерьмо (я внутренне вздрогнул и от непроизносимости в моем мире этого слова, и от понимания, что не оправдал доверия, попал впросак). – Ладно, не бойсь. Беру. За деньги, заметь. Я не отбираю. Ты мне – это свое фуфло, я тебе – монеты. Смотри: много.

Я, видимо, действительно выглядел идиотом. Папуасом, которому белый человек всучивает зеркальце. Карманные деньги мне еще не выдавали, и я о денежном обращении имел довольно смутные представления. Бывалый снял с меня берет (этот знак благополучного детства, я, естественно, терпеть не мог) и отсыпал в него серебряных монеток. Много – настолько, что когда я относил их домой, пришлось держать за самые края.

– Лады?

Мы чинно распрощались. Я понес деньги домой. К нашему четвертому этажу призадумался. У меня росла уверенность, что маме и бабушке не очень-то понравится мое коммерческое предприятие. То есть совсем не понравится. Я мудро решил оставить объяснения на потом. Ссыпал монетки на лестничной площадке, где-то сбоку от входной двери, и побежал во двор доигрывать. За сохранность я не беспокоился – на нашей стороне площадки больше дверей не было, соседи напротив, через площадку, постоянно были в отъезде, этаж наш был верхний, так что мимо никто не проходил. Однако всю игру что-то смутно тревожило меня. Причем – прекрасно помню – тревожил не результат моей операции, то есть не то, обманули ли меня. В глубине души я уже понимал, что надули. Но это бы мои легкомысленные родители простили легко. Волновал этический смысл: вправе ли я вообще был вступать в коммерческие отношения, прилично ли это? Вот так воспитывали в те годы, по крайней мере, в таких семьях, как наша. Интуиция не подвела. Уже на первом этаже я почувал неладное. В лестничный проем что-то сыпалось. Я поднял глаза – где-то на самом верху я увидел бабушку. Она стояла, опершись на перила, и носком изящной туфельки (бабушке в ту пору было немногим за пятьдесят, она хорошо одевалась, следила за собой и вообще, как я сегодня понимаю, была очень хороша) стаскивала мои монетки. Вниз. Целый ручеек монеток пролетел мимо меня, рассыпаясь после удара по полу. К тому времени, когда я доплелся наверх, он уже иссяк. Бабушка повернулась

и вошла в дверь, так ни слова мне и не сказав. Мы обедали как ни в чем не бывало. Но я в этот день твердо усвоил, что по коммерческой линии не пойду. Не мое это дело.

Разговор

В 1950-е у Союза художников был Дом творчества где-то под Комарово, на берегу залива. Несколько финской постройки зданий. Столовая, из которой еду приносили в судках. Сад и парковая скульптура – медведица с медвежатами. Нашел даже снимок: я, четырех-пятилетний, на этом медвежьем фоне. Мне всегда казалось, медведи финской довоенной работы. Недавно мой старинный дружок Миша Воробьев напомнил, что это работа его отца. Замечательный анималист Борис Воробьев изваял эту группу из цемента с песком, в качестве арматуры использовал брошенные трубы. Вот ведь тяга была к безыдейной, не культовой скульптуре: без заказа сделано, на свои и «для своих». Ну да ладно. Вот мое воспоминание года так 1958-го. На скамеечке под деревьями моя бабушка, Тамара Дмитриевна, и высокий бородатый старик в теплом не по сезону пальто. Пальто запомнилось еще и потому, что старик этот научил меня песне, которая потрясла мою детскую душу. Песня была примерно такая: «Мама, мама, чего мы будем делать, когда наступят зимни холода? Ведь у тебя нет теплого платочка, а у меня нет зимнего пальта». Несмотря на строгие выволочки от бабушки, я эту песню затягивал, где только мог. Так вот, мы, мелюзга, во что-то там играем на лужайке, пожилые беседуют. Как я теперь понимаю, старик, Петр Дмитриевич Бучкин, ученик Репина, академик живописи, профессор, любезничает с бабушкой, по нынешним понятиям, вполне молодой дамой. К тому же общепризнанной красавицей.

– Экая вы, Тамара Дмитриевна, брюнетка. Вы, часом, не кавказских ли кровей?

– Я, Петр Дмитриевич, как вам прекрасно известно, русская дворянка. А вы как были тверским мужиком, так и остались. Даром что художник хороший и даже академик.

Разговор был вполне шуточный и, видимо, не раз повторявшийся.

– Эх-хе-хе, – Бучкин делано пугливо оглядывался по сторонам. – Как-то вы смелы сегодня, Тамара Дмитриевна. Как бы кто не услышал. Эх завернули... Хотя вы и при муже таком генералистом, а все-таки... Дворянка... Постреляли вашего брата немало... – Тут он погрузнел и добавил: – и нашего тоже.

Вот ведь запомнилась младенцу эта шуточная перепалка. А разговор-то был драматический, очень русский: всех постреляли, и ваших, и наших...

Драчун

Стыдно признаться: мой папа, тончайший иллюстратор Тургенева, муж дамы, безусловно, изысканной, известной в свое время ленинградской красавицы, любил драться. Видимо, сказалось его детство в подмосковной Лосинке. Место было криминальное. Почему-то было много евреев, вполне ассимилированных. Настолько, что по субботам (или какие там были выходные при «непрерывке») в поселке дрались, причем не по национальному признаку, а по улицам. Там были два мощных бойца, мясника, так улица скидывалась, чтобы заманить их на свою сторону. Я даже запомнил их имена, настолько любил папины брутальные рассказы: Ава и Раф. Его отец, мой дед Борис Маркович был слесарем высокой квалификации. Мать умерла очень рано, папу воспитывала мачеха, простая деревенская женщина. И улица. Гайдоровская пионерия, видимо, туда не добиралась. Дед, как рассказывал папа, вставал в пять часов, завтракал и ехал на электричке на завод. Возвращался в шесть, обедал с чекушкой водки и засыпал. В выходной пили уже серьезно. Друг отца, живописец дядя Юра Подляский рассказывал:

– Когда мы бывали в Москве на съездах союза художников, Дима иногда приглашал батю в гостиницу, в «Метрополь». Тот спокойно выпивал с нами. Что-то рассказывал. Не пьянел. Никакого удивления перед ресторанной роскошью не выказывал. Когда расходились – мы его провожали – как-то выкинул на ковровую дорожку окуроч.

– Папа, ты чего хулиганишь?

– Ничего, вон у вас сколько бездельников, – он кивнул на официантов. – Подберут.

Как я понимаю, в нем просыпалась какая-то пролетарская наивная гордыня. Я видел его раза два. Маму не особенно радовали наши контакты, она имела о пролетарских нравах самое предвзятое мнение. Как-то отец все-таки повез меня в гости. Дед сидел в пустой, кроме шкафа и стола, комнате с чисто вымытыми деревянными полами. Квартира, похоже, была коммунальной, но дружной: то и дело в двери заглядывали и здоровались. Дед был в свежестырированной рубашке навыпуск, вообще он был весь чистенький. Я был в матроске.

– Ох, вчера дали.

Дед, как будто они вчера расстались, стал рассказывать про каких-то своих друзей, как они куролесили. Папа кашлянул, напоминая – ребенок. Дед мельком глянул на меня. Похоже, я ему не приглянулся, наверное, из-за этой матроски.

– Да, Додик, – я впервые услышал, как папу так называют, сокращенно от Давид, – порода не наша.

– Да ладно тебе, папа.

Впрочем, скоро дед сменил гнев на милость, несколько раз потрепав меня по макушке. Как-то приехал на дачу под Москвой, где мы проводили лето, и мы с ним ходили в тир, где он дал мне раз десять выстрелить из духового ружья. Этого нельзя было не запомнить. Отец успел его навестить перед смертью. Дед лежал в большой палате, в местной больнице. Был уже плох.

– Принес?

– Папа, тебе же нельзя.

– Глоток можно, уже все равно. Ты ребятам купи.

Отец сбегал, купил сетку маленьких, раздал ребятам. Дал глоток старику, допил сам. Так вот прощались рабочие люди в Лосинке.

Так или иначе, отец был драчун. Конечно, в той ленинградской среде, где он жил, это воспринималось иначе. Помню, как несколько раз он возвращался в разодранном костюме, очень возбужденный и веселый.

– Дима, ты опять дрался с простыми людьми! – Негодовала мама.

– Ты представляешь, иду я домой, а тут напали антисемиты!

Надо было поискать таких антисемитов – отец был высок ростом и очень крепок. И уж на тихого интеллигентного еврея, жертву уличных негодяев, он никак не походил. Так что потом он для убедительности подключал к делу имена знакомых маме людей именно такого тишайшего вида, а он выступал в роли защитника.

– Ну, ты Витьку Гусакова знаешь? И Арончика? Так вот, сидят они за столиком, никого не обижают, а сзади подходит один молодой гад и раз по голове! И кричит, ах вы... ну ты знаешь. Пришлось...

Так более или менее прокатывало. Вообще слово «антисемит» маму смущало. Удивительно, отец сохранил бойцовские качества и в старости. У него не было паузы между импульсом и действием. То есть о последствиях он просто не успевал задумываться. Видимо, детство в Лосинке дало полное отсутствие робости перед уличными ситуациями. Однажды приятели в университете попросили меня найти художника, который срочно сделал бы пейзаж: университетское здание с окном, за которым сидел в молодые годы один очень большой начальник. Такое подношение на память. Гонорар был солидный. Я рекомендовал папу, он взял в помощь графика Толю Данилова, и они мгновенно выполнили заказ. Естественно, обмыли. Им было в одну сторону, они поехали вместе на метро. (Я просил папу в таких случаях брать такси, готов был высылать ему машину, но он упорно возвращался именно на метро. При этом смолodu ходил в лучшие рестораны, всегда брал такси. Какой-то у него на старости лет возник настыр-ный демократизм, он хотел быть, «как все», может, ему не доставало общения.) Выпив, он никогда не выглядел пьяным, такая уж у него была счастливая конституция. Вагон был полупустой. На одной из станций вошел человек и сразу набросился на них: – Я евреев убивал и буду убивать.

Причем, по рассказу Данилова, набросился он именно на него. Данилов, крестьянский парень, почему-то зарос с возрастом рыжими волосами. Мужик, видимо, принял его за мате-рого еврея.

– Я старался заговорить мужика, он был, видимо, сумасшедшим, очень агрессивным. Хотел увести его от Давида.

– Вот, Толик, теперь и ты почувствовал, каково быть жертвой антисемитов, – не выдержав, засмеялся я.

– А мне было не до шуток, мужик такой упертый попался, неадекватный. А Давид молчит, я решил, напугали старика. И тут – «Двери открываются!». Только открылись, Давид одним ударом вынес мужика из вагона. Тот и пикнуть не успел. Пришлось пойти продолжить, выпить пару рюмочек.

Я провел с отцом беседу. Он долго делал вид, что не понимает, о чем речь.

– Папа, ну нельзя тебе связываться со всякой шпаной, тебе за семьдесят! А ты сразу бьешь человека в лоб! Пусть уж молодые как-то...

– От вас дождешься! Ты представляешь, ни один в вагоне за старика не заступился! – Он возмущался совершенно искренне.

– Что ж заступаться, когда ты просто ожидал, когда дверь откроют, чтобы ему вмазать!

– Но они-то этого не знали!

Арбузы от Тубли

Арбузы в начале 1980-х продавались строго по сезону и в строго определенных местах. На каких-то перекрестках, видимо, помеченных в Смольном специальными крестиками, утром с фур вываливались груды арбузов. Никаких огороженных сеткой пространств, как сейчас. Бери – не хочу. Нет, обычные груды, которые быстро испарялись – очереди были чудовищные. Советское значит отличное. Значит дефицитное. Даже если само растет. Пытаться поперек очереди переплатить продавцам было не принято. Может, кто-то это и делал, но нервы надо было иметь железные.

Однажды мы проезжаем с отцом и мамой по Суворовскому. На углу 7-й Советской типичная арбузная торговля: груда арбузов и немереная очередь.

– Хорошо бы купить арбузов, – говорит мама. – Но очередь...

В очередях мама никогда не стояла. И от нас требовала того же. Запрещено было общение с нужными людьми: кого-кого, а блатных за нашим столом никогда не сидело. Это было твердо. Лучше переплатим, зато домой принесут. А эти – пусть подавятся. (За это несомненное барство папа расплачивался литографированием портретов членов Политбюро. Что странным образом не считалось уступкой «этим». Которые – пусть подавятся. Видимо, в глазах мамы выгоды общения с деловыми, нужными людьми были неприемлемы. А выгоды госзаказа принимались: он был обезличен, общаться ни с портретируемыми (все делалось по фотографии), ни с заказчиками, слава Богу, не приходилось.) Папа готовился проехать мимо. Но тут я попросил притормозить. И через пару минут возвратился с двумя арбузами подмышками.

Этому предшествовала следующая история. Прямо над арбузным местом, в доме на углу Суворовского и 7-й Советской, находилась мастерская нашего друга Миши Тубли. Точка, ленинградской богеме известная. Чего только не повидала эта скромная мансарда! Мишуля принимал всех, как принимает Англия диссидентов и банкиров со всех стран. Банкиров у Тубли я не видал, но наш брат, искусствовед и художник, пользовался там правом неприкосновенности: от дел, жен, службы. Так вот, как-то подходя к дому, мы с Мишей набрали на эту самую очередь. Арбузов хотелось смертельно. Продавщицами были, кажется, две девушки в платках, ватниках и бесформенных брюках, руки в митенках, словом, непритязательные на вид. Они отчаянно ругались с активистами из очереди, видно, граждане покупатели осточертели им до смерти. Мишка сделал стойку. Попробуем. Мы молча остановились чуть в стороне от очереди. Через десять минут девчушки обратили на нас внимание.

– Чего стоите? – Начали они довольно нелюбезно. Мы только вздыхали. Продавщицы, похоже, немного даже растерялись. – У нас все в порядке. Вот накладные...

– Какие накладные, – начали мы импровизировать. – Сердце щемит, глядя, как эксплуатируют таких барышень. Народ-то совсем озверелый. Представляю, чего вы тут за день наслушаетесь... – Мы перекидывались фразами, нагнетая градус сочувствия. Девчушки оттаяли и даже стали прихорашиваться. Наконец, Мишка выстрелил коронное: – Не знаю уж, Саша, как ты можешь заниматься творчеством, когда кругом такая несправедливость...

– Не могу, не могу, – с готовностью подхватил я. – Рука не поднимается за кисть взяться...

– Так вы художники? Интересно-то как.

– Интересно, – построжали мы, – так поднимитесь наверх, вот наша мансарда. А нам творить пора... Заговорились тут с вами...

В мастерской уже были люди. Начались привычные разговоры под Фетяску и Гымзу в больших плетеных бутылках. Часа через два, расторговавшись, постучали девушки. С четырьмя арбузами. Где-то они успели умыться. И выглядели уже не чумазыми, а хорошенькими. Студентки холодильного на заработках. Все были рады – им и арбузам. Девушки рас-

смащивали картины и прислушивались к нашим разговорам с интересом – незнакомая среда, новые люди. Некоторые гости, не знакомые с сутью дела, пытались к ним подкатиться и даже заманивали в темную комнатку, служившую Мише для отдыха. Девушки дали справедливый отпор – мы не для этого пришли. Но особенно возмутились мы с Мишей. Видимо, находились под впечатлением собственной легенды о золушках, несправедливо обреченных торговать. Расстались по-дружески, без обид.

Хорошо, что я углядел их снова на углу Суворовского и 5-й Советской. Узнали. Принесли без всякой очереди два арбуза. Приветливо. Деньги – строго, как положено. Ни копейки сверх. Вот она, сила искусства.

Мама, конечно, всего этого не знала. Она безмерно удивилась проявленным мной качествам добытчика. Чтобы я что-то раньше да мог достать... Похоже, даже немного расстроилась – сын-то оказался каким-то приземленным, чуть ли не деловым. Но и слегка успокоилась относительно моего будущего: не пропадет.

Яички в 1960-м году

Во дворе у меня был приятель, сверстник, Мишка Капкин. Мы играли вместе, вместе пошли и в первый класс в ближнюю школу. Как-то заигрались во дворе. В «секретку»: что-то зарывали в снег по очереди, и каждый отгадывал и откапывал чужое сокровище. И незаметно мы разругались: одна секретка потерялась, чья – уже не разберешь. Но Кап-кин утверждал, что его. Более того, объявил, что секретка представляла собой ценную домашнюю вещь, и я ее, выходит, украл. И Мишка, и я прекрасно представляли, что секреткой служила какая-то ненужность – огрызок карандаша или вообще ледышка. Через минуту мы бы помирились и забыли об этом противостоянии. Но слово «украл» было произнесено. Для меня это было нестерпимым оскорблением. Началась потасовка. Побить друг друга по-настоящему мы не могли: оба были в тяжелых ватных пальто, ушанках, варежках. Так, повозились немного. Но Капкин упал и дико заревел.

– Избили, – кричал он, размазывая слезы.

Был он тот еще хитрован и наверняка нагнетал обстановку, чтобы запросить с меня лишнюю, несправедливую секретку. Так бы и случилось: я характером не вышел, слез не выносил и наверняка пошел бы на попятную. Но на беду случилась соседка. Пожилая женщина. Назвать ее дамой язык не поворачивается – она была какой-то угловатой, хоть и не в форме – военизированной, вопиюще неженственной, – полная противоположность моей маме и бабушке. Она была именно что партийкой, как я сейчас понимаю. Действительно, старым членом партии, уже в ленинские времена засланной в Америку помогать тамошнему рабочему классу. (Ее внук, наш с Мишкой приятель, рассказывал, что она хранит письма Крупской и кое-кого еще, тут он хитро улыбался, и что вообще она в полковничьем чине, только скрытом, тайном. Вполне могло быть – агент на покое, почему бы и нет. В таком-то доме.) Это сегодня ее история побудила бы меня на расспросы и исследования. Тогда же я ее побаивался по бытовой причине: она имела обыкновение резать правду-матку родителям по поводу нашего возмутительного поведения. Она это не скрывала, более того, громогласно заявляла, что, может, она и перебарщивает с обвинениями, но делает это специально: потом хуже будет. Для нас, провинившихся негодяев, у которых благодаря ее вмешательству еще есть шанс вырасти порядочными, нужными для страны людьми. Так что стукачкой ее не назовешь. Партийка. Такие вот страсти кипели в нашем доме. Партийка громогласно отчитала нас с Капкиным, но больше всего досталось мне: она расслышала слова «избил» и спешила восстановить справедливость. При чем она судила меня не только за драку. Как сейчас помню ее филиппику: ты ударил его ногой по яичкам, и у него, возможно, детей теперь не будет, будущих солдат. У него и у Родины. Слово «яички» я ранее не слышал и потому совсем расстроился. Капкин же из-за такой живо описанной перспективы орал уже всерьез. Дело переходило в нешуточную плоскость. Хотелось к родителям под крыло, к бабушке, никогда бы не позволившей обвинять родного внука в таком антигосударственном поведении, к отцу, который, я был уверен, нашел бы правильные слова, чтобы отшить агентурную старуху. Но родителей рядом не оказалось. И соседка не поленилась – убежать от нее не было никакой возможности, так уж мы были воспитаны, – отвести нас в школу (благо, та была недалеко). И сдала нас добрейшей учительнице, классному руководителю. Причем с такой формулировкой, что спустить дело на тормозах было нельзя. Она требовала разбирательства в присутствии директора школы. И, чтобы совсем уж быть уверенной в том, что не зря тратила свое время, велела написать записки нашим родителям с требованием прийти в школу. Кажется, к пяти. Мы были убиты наповал. Занывать записки было невозможно. Старуха бы наверняка проверила. Какое-то время у нас заняло выяснение отношений: кто виноват? Вялая перебранка длилась недолго: каждый понимал, что победителя в таком деле нет. Решили рассказать дома все как есть, снизив накал, друг друга не заклады-

вать – подумаешь, повозились в снегу, никто и не виноват. А с соседки что взять – принципиальная, вот и пристала, как банный лист. Родителей дома не было, только дед с бабушкой. Я протянул записку. Бабушка ждала подробностей. Мне пришлось рассказать все без утайки (к чести своей, на хитрованистость Капкина я не напирал). Бабушка была возмущена. Особенно яичками. Но не только.

– Втягивать детей в какое-то чуть ли не дело, судилище устраивать! Прокурорша!

Дед был за час заведен, как пружина. Он как был в штатском, накинуд шинель и папаху и бросился вон из дому. Я болтался за ним по снегу, так как он тянул меня за руку, не замечая, что мне неудобно и больно. В классе уже ожидали такой же распаленный отец Капкина и сам Мишка, с совершенно убитым видом. Мы с ним прижались друг к другу, инстинктивно пытаюсь забиться куда-нибудь в уголок... Растерявшиеся классная и директриса не знали, с чего начать. Тут надо описать некоторые обстоятельства. Дед мой был уже в отставке и потому мы пришли пешком. Капкины приехали на казенной машине. (Видимо, мишкиного отца сорвали прямо со службы.) Это было их преимущество. Но за дедом стояло другое (естественно, все это я понял много позже). Дед был летчик, а Капкин-старший, хоть и генерал, но инженерный, связанный с производством танков. То есть на каких-то тогдашних весах весящий несравнимо меньше деда (притом дед был маленьким и сухоньким, хоть и выносливым, а Капкин осанистым и тяжеловатым, хоть и моложе). Это – сопутствующие, но не решающие обстоятельства. Дед бойцовым петухом насканивал на Капкина, тот нависал грузной шинельной грудью. Видимо, кто-то донес ему слово «избил», и он употреблял его с каким-то даже удовольствием:

– Ребенок был избит, без всякой причины, это не пройдет безнаказанным.

Дед отвечал короткими очередями:

– Стыдно, товарищ генерал, из-за детской шалости судилища устраивать! Где избитый, я вас спрашиваю? – Мы с Мишкой съежились. – Вы, видно, избитых не видали.

Правду сказать, Капкин старший никакого судилища не устраивал, это все старуха-партийка затеяла.

– Яички! – выкрикивал Капкин (а вот это наверняка со слов старухи, успела до их квартиры дойти. К нам бы она не зашла ни при каких обстоятельствах, смекнул я). – Ногой по яичкам ваш хулиган бил моего сына! Стыдитесь!

– Подумаешь, мальчишеская драка, нормальное дело! И мы в детстве дрались!

– Ненормальное! Нормальные дети так себя не ведут, как ваш внук! Кем он растет, я вас спрашиваю?

– Не вам указывать, как растет мой внук. Как-нибудь сами справимся.

– А я вам скажу! Богемой будет!

В устах генерала это слово звучало как пощечина. Дед прекрасно понимал, куда гнул Капкин: зять-художник, бельмо на глазу в военном доме. Это был удар ниже пояса. Дед расвирипел:

– Следите за выражениями! Я вам русским языком говорю: судилища не позволю! Русские мальчишки валтузят друг друга! Это в порядке вещей! Крепче становятся! Не нравится – заприте своего сына дома!

Последнее довело почему-то Капкина до белого каления.

– А я не позволю антисемитизма над своим ребенком!

Возникла пауза. Спорщики примолкли. Мы давно уже не подавали признаков жизни. Потрясенные, классная и директриса вообще не произнесли ни слова. Тут командиры сухо поклонились друг другу, разобрали детей, то есть нас, и разошлись. Дед докладывал бабушке при закрытых дверях. Меня не ругали. Просто велено было вообще не подходить к Капкину. Раз он дружить не умеет. Капкину, как оказалось, приказали то же самое. На другой день мы уже играли во дворе как ни в чем не бывало. Постепенно и старики как-то успокоились. В близкие знакомые не напрашивались, но козыряли друг другу исправно, честь, значит, отда-

вали. Через много лет я, кажется, понял смысл этой истории. Очень даже характеризующий время. Безжалостно. Дело в том, что Капкин-старший был не только инженерный генерал. Он был генерал-еврей. Отсюда и накал финала, и мирное завершение конфликта. Дед, ослепленный обидой за внука, осознававший, что есть доля правды в этой оскорбительно брошенной «богеме», два раза повторил слово «русский» в одной фразе! Дед антисемитом не был никак, он был воспитан по ранне-советски, но ведь сказал же! Что-то такое стукнуло ему в голову! К тому же в пылу ссоры забыл, что и зять его еврей, так что и я, мягко говоря, не вполне русский мальчик, якобы природно расположенный к дворовым дракам. Ляпнул и остановился: гнев гневом, но не то что оскорбить (в его понимании) подобным низким образом соседа и как-никак коллегу, вообще перевести разговор в эту скользкую плоскость он никак не собирался. Капкин же – я представляю, сколько унижений и обид он претерпел в период «борьбы с космополитизмом», – инстинктивно защитил своего мальчика, употребив тяжелую артиллерию, – склизкое, вопиюще не к месту сказанное слово «антисемитизм». Оба, к их чести, опомнились. И уберегли нас от разъяснений, так как мы уши уже наостригли на незнакомое слово. Такая вот картинка из 1960-го года. Я запомнил эту историю на всю жизнь. Наверное, из-за того, что впервые услышал слово «яички». Помнит ли ее Мишка Капкин в своей Америке?

Сильный старик

На первом курсе у нас преподавал рисунок профессор Керзин. Очень пожилой, почти слепой. Но боевитый. Помню, студент Гиви как-то возмутился:

– Михаил Аркадьевич, что же вы нам стариков да стариков ставите! Вы, наверное, уж и позабыли, как обнаженная женщина (он сказал на студенческом жаргоне – обнаженка) выглядит?

Керзин пожевал губами и совершенно спокойно ответил на это, правду говоря, наглое заявление:

– Молодой человек, посмотрите в окно. Дерево видите?

– Вижу.

– А воробьев?

– Конечно.

– Так вот, вы в жизни столько воробьев не видели, скольких я знавал женщин...

Гиви затих года на три... Боевитым Керзин был и на войне: оставался в оккупированном немцами Минске связным, что-то такое было связано с ним героическое. Но главным образом бойцовский темперамент профессора проявлялся по отношению к искусству. Он был, как бы это сказать, последним бойскаутом скульптурного академизма. Крепкий орешек. Истинное художество для него заканчивалось где-то перед «Миром искусства», дальше шли гниль и шатание. Себя он называл последним передвижником. В тогдашней Академии было много правых, консерваторов по необходимости и служебному соответствию, но он был реакционером убежденным, искренним и потому более симпатичным. И он не был каким-то там пролетарским выдвиженцем: выходец из интеллигентной богатой адвокатской семьи с почти профессиональными музыкальными интересами (в истории музыки даже зафиксировано понятие «керзинский кружок»). Учился с Коненковым. Вообще жизнь его сводила с замечательными людьми. Но он сам выбирал себе попутчиков. В 1923 году в Витебске он занял пост директора Витебского художественного техникума, затем выдавил учеников Шагала и Малевича и вообще вытравил левый дух в городе, где еще недавно верховодил супрематизм. Потом это стали называть идейным и организационным разгромом формалистов. Керзин всю жизнь гордился этой своей победой. Я, начинающий искусствовед, наивно замыслил почерпнуть что-либо у старика касательно Малевича и Шагала. Чем черт не шутит, вдруг наберу нового материала на статью, может, старик уже по-другому смотрит на эти вещи. Керзин был непреклонен:

– Все, что я могу сказать по этому поводу, молодой человек, изложено мною в статье за такое-то число 1937 года в газете «Известия». Добавить нечего.

Помню, страшно рассердился на мастодонта. «Известия», как же. Премного благодарен. Ладно, посмотрим, какой ты там передвижник. Пошел наверх, в нашу чудную академическую библиотеку, не поленился. И удалось мне найти, кажется, в «Ниве», репродукцию дипломной работы Керзина. Со своим передвижничеством старик явно преувеличил. Скульптурная группа представляла, скорее, жанр вакханалии. Сатир, преследующий козу. Сильный был старик, не отнять.

== == ==

Середина 1970-х. Защита диссертации на невыразимо радикальную по тем временам тему – что-то про мексиканских муралистов. Зал набит студентами. Ареопаг – ученый совет – держится настороженно, ждет подвоха. Но диссертант ведет дело вполне лояльно – никакого возможного провокационного противопоставления «Революционного монументального искусства Мексики» родным осинам. К концу доклада все уже кивают благосклонно. И тут просыпается старец Керзин. Проснувшись, внимательно всматривается в представленные репродукции и вопрошает:

– Молодой человек, чем вы можете объяснить, что этот ваш Ороско, – (или Сикейрос, или кто другой, не упомяну), – намеренно искажает действительность?

Тишина в зале. Даже академики как-то стали переглядываться: загнул старик. Все же не старые времена. Не стоило бы перегибать палку. К тому же черт знает этих мексиканцев: вдруг этот, как его, Ороско – коммунист или даже член их ЦК... И тут диссертант, ошеломленный неожиданным ударом, находит в себе силы сопротивляться. Он, зажмурившись, брякает:

– Но ведь товарищ Сикейрос (или Ороско) искажает не нашу советскую действительность. А сугубо капиталистическую.

Сильный ход. Удовлетворенный Керзин снова задремывает. Стоит ли говорить, что защита была успешной.

Цанка

Дом, в котором я вырос, в окрестном народе назывался генеральским. Там, действительно, обитали генералы среднего звена, в основном отставные, и их чада и домочадцы. Фасадом дом – типичный довоенный сталинский неоклассицизм нелепо монументального (беренсианского или скорее бурышкинского) ордера выходил на Измайловский проспект. Дом был выстроен буквой П, как в пушкинские времена говорили, покоем, противоположный фасаду просвет был закрыт решеткой. Первые годы своей жизни я помню солдат-постовых, потом пост сняли. Мы, детвора, возились на детской площадке внутри «покоя». Измайловский проспект и роты (поперечные ему Красноармейские улицы) были местом безопаснейшим: кругом казармы, по утрам даже слышался горн – побудка. Тем не менее, насельники дома, видимо, с военных времен одержимые идеей безопасности, озаботились присмотром за детской площадкой. Эту функцию возложили на одного, как шутили во дворе, ветеринарного генерала. Старик был уникальным специалистом по дрессировке собак. Еще бы, он служил начальником ветеринарной службы армии, как-то так звучала его воинская должность. Он выдрессировал замечательную собаку – немецкую овчарку Цанку. Она и была мобилизована на охрану нашего счастливого детства. Цанка была приучена допускать к детям только тех, кто был ей специально – так сказать, лицом, – показан хозяином. Он что-то шептал ей в большое стоящее столбиком ухо, и собака проявляла к этому избранному полное дружелюбие, позволяя заходить на детскую площадку в любое время. Мой папа, например, не был ей представлен, и когда иной раз, к вечеру, возвращаясь из ресторана слегка навеселе, хотел забрать меня домой, Цанка шерилась и не пускала его даже приблизиться к площадке. Папа мгновенно переходил от добродушной оживленности к ярости и клятвенно обещал пристрелить собаку. Но даже я уже понимал, что, по доброте душевной, он этого не сделает. К тому же у него не было револьвера. Мы, дети, знали, у кого в доме по службе был револьвер, а у кого нет. Вообще-то Цанка была собакой удивительного ума. Ровно в час дня она, безжалостно прерывая дворовые игры, разводила по квартирам брыкающихся негодующих детей. Раскрывая огромную пасть, захватывала (крепко, но абсолютно нежно, и без намека на прикус) каждого за руку и волокла к дверям квартиры, сдавая с лап на руки бабушкам и нянькам. При этом она не обращала внимания на вопли, щипки и даже пинки своих подопечных. Она никогда не ошибалась квартирами. Так бы все и продолжалось, если бы не один случай. Непонятно как появившийся во дворе солдатик (наверное, посыльный или просто ухажер чьей-то няни) решил себе на горе сократить дорогу и пробежать через детскую площадку. Цанка, подняв ухо, как бы предвидя его намерения, замерла. И когда бедолага рванул через огороженную низким штaketником площадку, она в немыслимо элегантном прыжке сбила его грудью. И зажала его горло своими огромными челюстями. Она вся дрожала от возбуждения, на гимнастерку несчастного стекала слюна. Все существо Цанки ожидало приказа рвать. Но приказа не было, а без него она не вправе была сомкнуть челюсти. Солдатик от ужаса не мог даже кричать. Мы бестолково старались его высвободить, присутствующие во дворе взрослые опасливо пытались отогнать собаку. Та не обращала ни на кого внимания. Наконец кто-то догадался позвать ветеринарного генерала. На счастье, старик был дома. Он спустился и, не торопясь, засеменил к Цанке. Что-то ласково прошептал ей в ухо, и она с огромным сожалением, но немедленно разжала челюсти. Солдатик, даже не оцарапанный, тем не менее, не смог самостоятельно подняться. Его отхаживали сердобольные женщины нашего двора. Вечером родители собрались на разговор. Невеселый. Дед пытался разрядить обстановку – что вы хотите от собаки, она так дрессирована. Приказ у нее. Бабушка сказала что-то мне непонятное про приказ и про власть: дескать, дрессировать-то вы умеете. Я не понимал – уж к деду это «вы» никак не относилось, собак, к моему детскому разочарованию, у нас отродясь не держали. Но бабушка имела в виду что-то другое, еще, слава Богу, недоступ-

ное моему уму. Отец что-то добавил про лагеря. Мама – про детскую психику. Меня отправили спать. Похоже, во многих квартирах велись какие-то важные разговоры. На другой день взрослые, видимо, переговорили с ветеринарным генералом. Во всяком случае Цанка больше не появлялась. Как сказали во дворе, была отправлена на дачу. На привязь, в будку.

Сегодня-то я понимаю: жители генеральского дома, люди абсолютно разные, в одном, безусловно, сходились. Знали, что такое лагерная овчарка. Кое-кто и не понаслышке.

Бабушка

Кто-то из родственников – дядя? – уже не помню – моего одноклассника работал гардеробщиком в ресторане. Видимо, из отставников в небольших чинах. Швейцары были чином повыше. Так вот, этот мальчик удивлял нас (а мы были второклассниками, с соответствующим жизненным опытом) рассказами об этой профессии – столько интересных людей! Какие шубы! А какая власть: хочет, сразу обслужит, а не захочет – пусть себе ждут! А денег сколько гребет (слова «чаевые» мы еще не знали, у меня и создался образ человека с лопатой, загребающего деньги). Я не мог не поделиться с бабушкой. Она старалась привить мне демократическую мысль, что всякие профессии равны и нужны. «Мамы всякие важны». И она благосклонно выслушала начало моего рассказа: гардеробщик так гардеробщик, похвально, что ребенок интересуется реальной жизнью. Но постепенно мрачнела – особенно, когда речь зашла о власти пускать и не пускать. А уж когда я начал про деньги лопатой, не выдержала. Сделала вид, что удивилась.

– Надо же, какая интересная профессия – гардеробщик! Я и не предполагала. Но запомни, Саша: все-таки они нам подают пальто, а не мы им.

Дамба

В начале 1990-х Толя Белкин затеял передачу «Крыша поехала», про современное искусство. Позвал меня. Передача была задумана как просветительская. Никаких шуточек! Никаких манипуляций сознанием зрителей. Толе ничего подобного и не хотелось. У него уже был опыт. Он был одним из создателей знаменитой, вспыхнувшей и быстро загашенной ленинградской культуры медийного стеба. Помните Курехина с его открытием – Ленин-гриб? То-то. Как только масс-медиа приоткрылись самую малость, Белкин ворвался в них со своей темой. Он специализировался на упырях, кровососущих инсектах и прочей нечисти, которую только могло поставлять его воображение большого художника... То, что в обычном застолье воспринималось бы ровно, как художественное допущение, из ящика звучало пугающе. Это теперь можно услышать все что угодно, тогда аудитория еще не была избалована. Ящику привыкли верить или не верить, но стеба, неотредактированного и безответственного, от ящика не ожидали. Белкин в полной мере воспользовался моментом. Как-то он выступил с передачей о различии между упырями и вурдалаками. Единственный способ избавляться от последних (от первых защиты не было), по Белкину, заключался в следующем. Нужно было согнуть большой хозяйственный гвоздь и носить его за ухом. Наутро в метро было замечено немалое число старушек с гвоздями за ушами. Белкин и сам был поражен силой телевизионного слова. Человек, как говорилось в советские времена, доброй воли, он менее всего желал бы использовать это слово хоть сколько-нибудь неосторожно. Только просветительство, ничего более. Правда, в силу врожденного темперамента, он не всегда мог вовремя остановиться. Как-то А. Макаревич пригласил его в свою передачу «СМАК». Белкин умеет готовить, но в строгих пределах. Здесь же ему захотелось блеснуть. Он решил поделиться своей версией приготовления осетрины по-монастырски. Выполнив на картоне изображение осетрины в разрезе, Белкин с указкой в руке показывал, как препарировать рыбину. Современное искусство позволяет вольности и всегда готово пожертвовать анатомией ради экспрессии. Видимо, художник, говоря, кажется, о визиге, слишком размашисто двигал указкой. Или не очень твердо помнил, откуда ее добывают. Во всяком случае, всю следующую неделю в любом ресторане к Толе подходил шеф в белом колпаке и вежливейшим образом допытывался, что Толя имел в виду. Все были уверены, что он обладает неким новым знанием, недоступным практикующим поварам. Толя нервничал. Я наотрез отказался составлять ему компанию. Какое-то время повар-художник залег на дно. Так что – просветительство в чистом виде.

Передача делалась на коленке, без особых склеек и монтажа, длинными проходами. Почти час (никакой рекламы) мы могли делать что хотели. За исключением этих самых манипуляций. Ну, и – не материться в кадре. А так – самовыражаемся как хотим. В процессе просветительства, конечно. Ленья Бажанов даже на каком-то обсуждении прослезился: дескать, дожили наконец. В какой стране это возможно, чтобы два... балабола в течение часа творили, что хотели... В той было возможно. В этой – нет. Несли мы, конечно, что хотели, но тематически. Одна программа была, помню, посвящена провокации в искусстве. Тема всегда важная. Тогда еще не столь завязанная на политику. Не скажу, что мы предчувствовали развитие событий. Просто хотели объяснить аудитории, что провокация в современном искусстве – данность. В доступной нам легкомысленной форме. Ибо глубокомысленная нам и по сей день недоступна. Я где-то достал истертое кожаное пальто шикарного энкаведешного вида и изображал комиссара госбезопасности какого-то там ранга. Толька не смог достать вещи такой аутентичности и выглядел в своих крагах и бинокле на шее скромнее, тянул разве что на майора. В эти дни в Питере был мой давний знакомый Ричард Е. Олденбург, бывший директор MOMA, брат знаменитого поп-артиста Класа Олденбурга. Я решил использовать удобный случай. Съемки были в ресторане Bella Leone на Владимирском, давно почившем или перели-

цованном, уж не знаю. Мы по-чекистски направили на Олденбурга лампу и долго допрашивали, как он дошел до жизни такой. То есть почему протаскивал в Союз враждебное искусство, мутил воду. Дик, помирая со смеху, во всем сознавался. Дошли и до брата. Он и его сдал. Расколовшись, назвал и других больших провокаторов XX века, от Дюшана до Бойса. Упомянул и Christo, вместе с женой Жан-Клод «упаковавшего» в материю Рейхстаг и даже кусок какого-то побережья. Это было нам на руку. О Кристо мы уже и сами думали, он был у нас, так сказать, в разработке. Дик просто, как говорили у нас на службе, дал фактуру. Отсняв материал, поехали на дамбу. Идея продолжения съемки была такая: на провокации разных Christo Советский Союз, несмотря на тяжелое экономическое положение, готовил Западу достойный ответ. В сфере современного искусства вообще и художественной провокации в частности. То есть внешне он как бы делал вид, что современное искусство ему вовсе даже не близко, но это была маскировка. Защитная упаковка, как у того же приснопамятного Кристо. (Вообще-то Кристо был беглым болгаринном, кто его знает, может быть, он был двойным агентом? Со своими упаковками значимых для Запада объектов, работал на соцлагерь? Хотя бы символически – был Рейхстаг, и нет его. Спрятан.) Так вот, Советы готовили такой масштабный ответ, что Запад мог утереться. Правда, ответ этот, вместе с БАМами и другими грандиозными стройками коммунизма, немножко подорвал экономику СССР. Да ведь идея требует жертв... Дамба и стала таким ударным художественным объектом. Выглядела она тогда ужасно: ржавчина по всей поверхности, бетонные надолбы, арматура. Но величественно (тогда злоязыким горожанам она казалась мегапамятником иллюзиям и воровству: никому и в голову не приходило, что это все достроят когда-нибудь и будут использовать). Мы, как уже говорили, в низкую политику не ввязывались. Мы напирали на величественную бессмысленность сооружения. Не для защиты от наводнений сделано, не для банальной пользы. По-вашему, не работает. А по-нашему, работает о-го-го! Работает как художественная провокация! Деньги на ветер – гениальный образ наших усилий! Это у вас на Западе все прагматично, уныло, бескрыло! А мы все бросили на художественный эффект! Вот она, победа нашенского contemporary. Так вот мы безответственно веселились. Помню, было очень холодно. Но мы завелись, размахивали руками, глядели в бинокли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.